

Соросов Ден

04.09.98

4 сентября 1998 года

ИЗВЕСТИЯ

Известия, -1998 - 4 сент. - 05

Мой друг О.Н.

Михаил РОЦИН

В нашей долгой дружбе, в общей нашей с ним жизни вспоминаю такой момент: как он играл Пушкина. Казалось бы! Но куда, как это можно, допустимо ли? Маленький, верткий, взрывчатый арабчонек Александр Сергеевич и эдакая русопятая орясица, важный главный режиссер, «Станиславский», герой «Трех тополеи на Плющихе» и танкист Иванов («Иванов — моя фамилия! Иванов!» — помните?)

Одним словом, нелепее не придумаешь — Ефремов, и вдруг Пушкин! Паря Николая — пожалуйста, тут он как нельзя подходит, да и играл его весьма ярко, картинно в «Декабристах», еще в «Современнике». Однако хочешь не хочешь, но в пьесе Л.Зорина «Медная бабушка», не очень-то, признаться, яркой, но о Пушкине, судьбе поэта посвященной, играть самого Пушкина больше некому было. Конечно, типаж есть типаж и портрет есть портрет — вроде не клеилось одно с другим, но играть-то Ефремов умел что хочешь, кого хочешь, а играть судьбу, играть Пушкина «взрослого», Пушкина последних дней жизни никто лучше в тот момент не находил. И пусть с этой нелепостью, с антипортретностью, но играл Ефремов, конечно, Пушкина — не кого-нибудь. И зритель, поначалу ошарашенный, убеждался в ходе спектакля и верил, что перед ним именно Пушкин.

Мне не довелось увидеть Ефремова в легендарном Самозванце ЦДТ, когда он был совсем молод и впервые, наверное, всерьез приникал к Пушкину. Но знаю его глубочайшую любовь к Пушкину и веру в Пушкина. И не просто так начинаю с Пушкина, а хочу напомнить гоголевские известные слова, что если явится русский человек с такими качествами русского, как у Пушкина, то лишь лет через двести. Думаю, тайна этой знаменитой гоголевской фразы в одном: главная пушкинская черта для современников, несомненно, была одна — пушкинская свобода. Свободолюбие, свободомыслие, свобода жить по-своему. Рабская угнетенность во всем — вот чем был русский человек времен Гоголя. Крепость — внешняя и внутренняя — вот была жизнь русского человека, и, конечно, саркастический и прозорливый Гоголь оттого и отозвался лет двести, не меньше, пока обретет он подлинно свободный дух.

Олег Ефремов — один из самых свободных людей, которых доводилось встречать в жизни. А может, и самый свободный, уникальный в этом смысле. Судьба наградила его актерским талантом и направила на одну дорогу — в Театр. Театральная биография Ефремова общеизвестна, и деятельность его, и все веки — от училища МХАТа до руководителя и главного режиссера первойшей театра страны, и роли, им сыгранные, тоже достаточно известны: амплитуда опять же от Самозванца в «Борисе Годунове» в молодости до самого Бориса уже на шестом десятке лет. Много всего, необычайно много: ролей, спектаклей, людей, началось — в Центральном детском, затем — в создании «Современника» и вся эпоха «Современника» от 56-го до 70-го, далее МХАТ, затем — раздел МХАТа и уже МХАТ «свой», «мужской», имени Чехова. Эпоха!

Невероятная биография! Он двигался, как ледокол, как самонаводящаяся ракета или выпущенная из лука стрела. Что вело его? Что держало? Энергия, страсть.

Московский арбатский мальчишка, студент, начинающий артист выходил в жизнь суровую, сжатую клемами. Так сложилось, что самый ранний, отроческий опыт уже раскрыл перед ним жестокость и несправедливость мира — в отличие от многих сверстников, от пылкой пионерки-комсомолки, ничего не знавшей о беззакониях и тюрьмах, юный Ефремов через свою семью, через арбатскую коммуналку и дворцовую шпану рано познал, где правда, где ложь. Рано узнал жизнь, рано зарядился от бывалых людей понятием об окружающем мире. Рано пришлось своеволье и своемыслие. Воспитание было атеистическое, советское, но были добрейшая русская бабушка и суровый дед, и строгий, справедливый, прекрасный отец, всю жизнь остававшийся другом, соратником, соучастником каждого события в жизни, каждого шага — вперед ли, в сторону. С отцом повзело, это несомненно: доживший до девяносты Николай Иванович Ефремов был опорой, оселком, живой совестью (сживался на репетициях, на всех спектаклях, собраниях, — думаю, сын всегда, вольно ли, невольно, по его реакциям проверял себя). Раннее чувство правды — вот, мне кажется, чем обладал и обладает по сию пору О.Н.



Что такое знаменитое «не верю!» Станиславского? Чувство правды. В жизни, в отношениях с людьми, книгами, авторами пьес, самими пьесами. Старый реликтовый МХАТ был Ефремову школой не только в смысле вуза: он еще застал, видел, знал всех «стариков». Благоговение и доверие Станиславскому у Ефремова удивительны: он предан Константину Сергеевичу столь же полно и отчетливо, как Пушкину и Чехову, — они и есть его боги, его религия.

В 70-м году Ефремов был представлен труппе МХАТа как новый его худрук. Я уже писал, вспоминал где-то: в моде тогда были кожаные куртки и пиджаки, мы ввернулись в священные стены в этой одежде, как большевистские комиссары, а в коридорах и фойе театра все внешне оставалось по-старинному, вроде как бы по-изначальному и пахло нафталином от ковровых дорожек и сукон.

Расставание с «Современником» было печально-трагичным. Он позвал артистов с собою, целиком влиться во мхатовскую труппу. «Современник» отказался, он был слишком крепко сколочен, славен, удачлив, в этом отказе сквозило тайное, подпольное, накопившееся, не ясное никому недовольство своим любимым вождем. Труппу возглавила Галина Волчек, верная ученица Ефремова. Ефремов, если не ошибаюсь, ушел в запой (есть у него такая российская манера нырнуть в тяжелый момент жизни в сорокаградусную), театр побежал дальше по накатанным рельсам, Москва и критика шумели, перемывали, обсматывали сие событие. Не забудем, какое стояло время на дворе: брежневское, бездарное, полное, опять откровенно бесчеловечное, тень Сталина вернулась и витала над всем. Опять надо было засучив рукава бороться с подполью и пошлостью человеческой, с засильем бюрократов и явившихся еще к тому же казнокрадов, нового класса — партократии. Довольно скоро Ефремов найдет автора, который поможет ему оформить свою социальную ненависть к «порядку»: это будет Александр Гельман, автор «Премии» («Заседание парткома», затем «Обратной связи», «Нижеподписавшихся»). Каждый из этих спектаклей производил общественную бурю, народ валил в театр. Сам же театр был настороже, к такому не привыкли, критика подливала масла в огонь, издеваясь над откровенной публицистичностью, превращением «святого» МХАТа в «газету».

Впрочем, началось еще с первого во МХАТе поставленного Ефремовым «дилого» спектакля — «Сталеваары», когда на сцене горели мартены, работая в робах (в том числе сам Евстигнеев, пришедший вскоре в театр) разбирали производственные, заводские конфликты. Мне, естественно, более памятна история с «Валентином и Валентиной» — тоже одним из первых спектаклей нового МХАТа. Клянусь, на знаменитой провальной премьеры я сам, автор, слушал пьесу почти с ужасом: так грубо, улично звучал язык персонажей в священных стенах, в зале, где набилось в тот вечер несметно лысин, золотых погон, бриллиантов, поскольку сам премьер товарищ Косыгин оказался в ложе. Мы сидели с Ефремовым после спектакля в комнате администратора, мимо нас уходили из театра зрители, и ни одна душа не поздравила, не сказала спасибо, сама министр культуры, наша Катя Фурцева, вылетела фурией, потому что в антракте, как стало потом известно, Косыгин призвал ее к себе в ложу и устроил прямо на месте преступления нагоняй: что это у вас делается во МХАТе!

Рисую картинку. Еще жив «Современник». Я сижу однажды случайно на парапете памятника Маяковскому, в руке авоська (еще не было пластиковых пакетов), в авоське буханка черного хлеба и бутылка водки. Мглысто, сыро, весна. Вижу, от метро наискосок через площадь идет длинный, тощий Ефремов. «Привет!» — «Привет!.. Чего это ты тут сидишь, тебе за столом надо сидеть, пьесы писать». Я смутился, прикрыл полую пальто своей товар в авоське, отвечаю: «А я как раз... это... собираюсь...» Я действительно уезжал, в Пензу, в деревню, где потом, за два летних месяца, сидя на пасеке в Никольском районе, — машинка на табуретке, сам сижу на скамеечке, с которой хозяйка Шура доит корову, — написал пьесу «Старый Новый год». Со мной была моя жена (того времени) актриса Лида Савченко. Читал ей сцену за сценой, она хохотала. Вернувшись, позвонил Ефремову. Ехидно сказал: «А я пьесу-то написал». «Хорошо, давай почитаем». Приехал ко мне. С кем-то еще из современников. Я читал, на кухне варила привезенная из деревни курица, Лида опять хохотала. Олег тоже.

И вот с этого момента, с той минуты, как пьеса ему понравилась, начались наши с ней муки. Мы ходили в Министерство культуры, мы каждую неделю бывали у Родионова, начальника московского отдела культуры (и председателя шахматной секции какой-то). К кому только не обращался Ефремов, кому только не звонил! Один я бы, кажется, однажды обозлился, плюнул бы и бросил — нет, Ефремов, как танк, как таран, упорно двигался к цели.

Так продолжалось семь лет! И лишь переходя во МХАТ, он выпросил у Фурцевой, одним из первых условий, разрешить поставить эту пьесу. Семь лет!.. Впрочем, что ни делается, все к лучшему: во МХАТе все роли разошлись потом среди замечательных актеров: играли Невинный, Евстигнеев, Ханаева, П.Шербак, Калыгин, Минина, Мирошниченко. Тоже не сразу было разрешение, тоже долго мытарились с редактурой и цензурой, но все же упрямый мастер своего добился. Какие были репетиции, какой получилась спектакль!.. Теперь, кажется, нет человека, который бы не видел, не вспомнил при встрече со мной «Старый Новый год». Как хохотали! Кажется, никогда не слышал в театре, чтобы так хохотали. Только в цирке или в кино, как хохотала, так хохотала». Лида Чупина. Мудрый Ефремов знал, что делал, что отстаивал: спектакль привлек огромную публику. Он не сходил с афиши двадцать с лишним лет! Это была награда за те семь лет терзаний.

У меня за сорок лет работы в литературе нет никаких званий и премий, но именно со «Старым Новым годом» связана и моя самая большая театральная награда. Часто рассказываю об этом, расскажу и здесь. Однажды играли в филлиале, я сидел в ложе, близкой к выходу из зала, в правой. Вдруг вбежала — это после спектакля, когда уже вытекла публика мимо, — вбежала старенькая мхатовская капельдинерша, потащила за руку: идите, посмотрите!.. Спустились по двум ступенькам в зал. Подводит к какому-то креслу — в филлиале какой-то занятые сиденья. Тронута рукой: «Потрогайте, не стесняйтесь. Тут одна дама сидела, так хохотала, так хохотала». Я скрепился, потрогал — сиденье было мокро.

Вернусь к «Валентине», хочу показать, что для меня в жизни Ефремов, как он помог мне стать драматургом, как учил Театру. Интересно, что поначалу Ефремов как бы прошел мимо нее, но потом,

уже когда Валерий Фокин начал репетировать ее в «Современнике», вернулся, перечитал, сказал, что никакая это не молодежная пьеса, а вполне нормальная, вполне «взрослая», только хорошо бы вот то-то и то-то усилить, уточнить, обогатить. Он заставлял меня работать до смешного упрямо: в районе нового здания МХАТа, на Тверском, в подвале находилось театральное общежитие — меня отправляли туда, запирали, среди дня приносили, как в карцер, поесть и даже коньяку и ждали, когда будут готовы новые, «обогатенные» странички. Ефремов уже сложил в уме свой спектакль: широкий, с декорацией сразу всей Москвы, с историей двух семей — богатой, обеспеченной у Валентины и бедной, скромной у проводницы, матери Валентины. Этот социальный разрыв, эта правда о жизни, а отнюдь не откровенно любовные сцены, и не нравилась в конце концов начальству. Хотя и обнаженные в их первую ночь любви герои, Вергинская и Киндинов, тоже впервые явились тогда на московской сцене.

У меня не было никакого театрального опыта, воспитания, я в молодости даже не очень увлекался театром. Я видел, как на своих замечательных репетициях Ефремов вел актера к правде, правде и еще сто раз к правде. Он помогал, он вытягивал, он искал понимания и до зубной боли, до отчаяния мучился с актерами, которые не слышат его, не чувствуют, не способны исполнить, казалось бы, очевидное. Ему очень трудно было работать во МХАТе, по сути, с чужими актерами, с теми из них, кто потерял высокий профессионализм. Мы скоро сдружились, нашли общий язык, потому что со мной его тоже было трудно: меня заносило в лирику, в прекрасноту, в идеализм. Он слирал, слава Богу, с меня эти шкурки.

Ефремов — очень умный человек, за его простоватостью, обыденностью скрыт ум очень серьезный, своеобразный, обогащенный самым широким опытом, способностью к длительному размышлению, точному анализу, формулировке и синтезу. Свобода духа сообщает ему свободу ума.

Хочется перебить самого себя и рассказать о Ефремове веселом, контактном, общительном, обаятельно-увлеченном, открытом, без наморщенного лба и строгой складки губ. Однажды я пришел к нему, спросил: скажи, реформатор и строитель, ты был когда-нибудь в Сибири, видел своими глазами хоть одну гидростанцию?.. Я много тогда ездил, занимался журналистикой, говорил чуть свысока. Надо уточнить, разговор шел в самом начале строительства БАМа, о котором только и талдычили газеты, радио, ТВ. Мы решили увидеть этот БАМ своими глазами. Поехали! Связались с ЦК комсомола, там слегка обалдели, потом сами выписали нам свои командировки, обещали всякую помощь. Мы полетели в Иркутск, потом в Братск, вышли из поезда однажды утром, сели на песочек на берегу новоржденного Братского моря-водохранилища, поставили рядом на песок еще оставшуюся бутылку водки. По гребню плотины шел красными гигантскими буквами лозунг: «Наша цель — коммунизм!» Отчего-то три буквы упали, исчезли, осталось: «коммунизм». Господи, сколько мы хохотали в этой поездке, в какие только не попадали ситуации, какое множество людей встретили, увидели, перезнакомились, сдружились. Садимся в какой-то вертолет, Ефремов навеселе, я вполне трезвый. Командир говорит: мы тоже так, вот нас двое,

кто-то один должен быть обязательно трезвым. Однако, поднявшись, начали игру с другими вертолетами, гонки: надо снижаться, взмывать, снова вниз, прятаться в тайге и так далее. Мы вошли в азарт, мы «стреляли» в «противника», катались по железному полу, вопили, болели за своих. О.Н. сделался совершенным мальчишкой, играющим в войну, тоже вопил и хохотал. Потом попали в Тайшет, столицу БАМа, полдня сидели на деревянном аэродроме, ждали оказии, улетели с каким-то пожарным вертолетом. Кончили мы свой поход на Тихом океане, как в песне: стояли на берегу океана во Владивостоке, я говорил: «А ведь когда-нибудь будем стоять так по ту сторону океана».

Как в воду глядел: в том же году или на другой полетели вместе с Америку, на премьеру «Валентины», которую поставил в театре АСТ в Сан-Франциско американский режиссер Эд Хастингс. А уж там нас встретили! Уж там было новых людей, встреч, эпизодов и событий — миллион!..

Впрочем, всякую заграничку, как и все иностранное, Ефремов переносит с трудом. Хотя всю жизнь много ездил, везде был — в одном Сингапуре раза три! — и весьма редко, наперечет, что-либо ставит за рубежом. Как, говорит, я буду ставить, для кого? Я же не знаю их публики, их народ. Из всех стран любит, кажется, по-настоящему только Грецию: многих там знает, его знают и любят там тоже.

Невероятна популярность Ефремова: всюду и везде его знают, принимают с радостью, говорят открыто и за просто: как со своим добрым старым знакомцем. Он в ответ общается с людьми тоже открыто, свойски, без капли чванства или фанатерии, он всегда остается самим собой и одинаково равным с любой проводницей, ребенком, мистром или приехавшим вдруг Мastroяни. Между прочим, у него очень обильная почта: как от поклонников, публики театральной, так и от самого простого люда, вплоть до бомжей или беженцев, которые запросто просят денег, думая, что Ефремов должен быть сказочно богат или всеислен. «Олеж, — пишет какой-нибудь освобожденный из лагеря, — помоги, кореш, нету на хлеб, на дорогу домой доехать».

Романтическое служение народу и критический, иронический, даже сатирический взгляд, обоснованный глубоким знанием своего народа, сочетаются у Ефремова с чаадаевской страстностью, чеховской глубиной и реализмом — он сам простой русский мужик и слышком хорошо себя знает, чтобы льстить себе, быть самодовольным или заноситься славой. Глубокая, преданная любовь Ефремова к Чехову — будто благодарность писателю за его строгий и пронизательный, реалистически-докторский взгляд на человека, на жизнь, на мятущегося, вечно недовольного, вечно прекраснотушного и ошибающегося русского интеллигента. Никто из писателей, из всей мировой драматургии, так не подошел Ефремову, как Чехов. В Чехове, в каждой его пьесе Ефремов словно бы находил себя, с его помощью размышлял все насущные проблемы и времени и героев времени. Чеховская печаль, чеховская утонченность, чеховский стиль — все подходило Ефремову как нельзя лучше. Кажется, будь он сам писателем, он писал бы тоже именно так: сдержанно, кратко, всегда точно. Актер творит свою роль из всего: из себя, своей индивидуальности, своего опыта, всех своих наблюдений над людьми, над жизнью. Режиссер творит спектакль точно так же: лепит или рисует, как художник, собирает в новый спектакль все свои корневые и новые, ситуационные впечатления, как собирает писатель все в роман, который сейчас, сегодня пишет. И это всегда прочитывается, всегда видно: зачем, от чего оттолкнулся, куда направлено.

Ефремов жив и вдохновляем театром. Надо видеть, как он увлекается, загорается, работает, когда ему интересно! Это один Ефремов. Он на каждом спектакле, который смотрит, все время продолжает работать. Он бормочет, шевелит губами, повторяет и проигрывает каждую роль вместе с каждым актером. Целое зрелище. Есть другой Ефремов: мрачный, замкнутый, сидит, находясь уже немолодого птицей, не выпуская из руки вечную сигарету, все ему скучно, ничто не увлекает. Может часами крутить по телевизору дикие фильмы, приключения, вестерны, триллеры — все равно что, лишь бы отвлечься, забыться, не думать о своем проклятом театре, если там плохо или не так идут дела. Не думать?.. Все равно поверх всего он думает только об этом. Творческий процесс может принимать любые формы,

но он не кончается и не прерывается. Часто спрашивают (я сам себя спрашиваю): в чем секрет Ефремова? Что за личность? Откуда он такой взялся? Со своей внешностью шофера или водопроводчика, как обзывали его во МХАТе, и со своим изяществом, изыском, тайной порочностью и, возможно, скрытым безумием, как говорил Бунин. Кто ответит? Кто может открыть секрет? Да и надо ли?.. Вот он такой: да, и такой, и такой, разве не бывает? Вся жизнь шел наперекор, против рутины, был реформатором и социальным деятелем, и всю жизнь не любил конфликтов, умел найти компромисс, равновесие (астрологический знак Ефремова — Весы), глубоко переживал всякий конфликт, хотя, кажется, какое место на свете более конфликтно, чем театр, коллектив артистов!

Я начал со свободы, свободного духа, свободы воли. Но свобода не дается так просто. Есть и оборотная сторона медали: свободный человек, как правило, остается один. Так, тот же Пушкин был глубоко одинок. При всей общительности своей, обилии друзей, любимых женщин, привязанностей, интереса и пытливости к людям мало знакомым, «хочете к перемене мест» — при всем этом всегда был один, сам по себе, наедине с пером, бумагой и свечой в подсвечнике. А Лермонтов? А Чехов? Чехов, носивший колыло с надписью «Одинокому везде пустыня».

27 октября 1997 года в Камергерском, в старом МХАТе, праздновали 70-летие Олега Ефремова. Впрочем, праздновали — не совсем то слово. Отмечали. Теперь более так называются юбилеи. Для праздника не подошло настроение: во-первых, у самого юбиляра, он плохо себя чувствовал, как все чаще случается в последнее время, был недоволен собою и делами в театре, раздражен и обижен случившимся накануне выпадом сына, Ефремова-младшего, который нахамил отцу. Настроение шло, естественно, улавливалось в театре, многие вместо даров готовы были тоже одарить юбиляра своим недовольством, претензиями, обидами — их накопилось достаточно.

Хотя давали в этот вечер «Три сестры», лучший, вероятно, ефремовский спектакль последних лет, и главное, то есть делу, которое сообщается, можно было и должно порадоваться. Пол-Москвы или вся Москва, собравшаяся во МХАТе в этот вечер, спектакль уже видела, оценила, приняла. Пережили уже и потерю Елены Майоровой, прекрасной игравшей здесь Машу, знали и о внезапной болезни В.Невинного-Чубутыкина. Возможно, ожидали капустника, как это водится на подобных вечерах, но опять-таки не было для этого в театре нужного настроения. Потом О.Н. говорил грустно: покатались 70-летия, у меня, у Ульянова, еще у кого-то. Это знаешь что значит: это наш год подошел, тех, кто на войну не успел и в живых остался, воевали 24-й, 25-й, 26-й — эти до юбилеев не дошли почти никто, не доехали.

Достаточно собралось хорошего народа, подлинных друзей, отвечая верностью на верность Олега — кстати, может быть, одно из главных качеств его. Он никогда не был подвержен моде, театральным интригам, знаменитому «против кого дружите?», не подлевался, имея в виду хоть какую-нибудь от кого-то выгоду себе лично. И, соответственно, никогда в жизни не любил людей с противоположными знаками — алчности, выгоды, корыстолюбия, чванства, не терпел перевертышей, лукавства, панибратства. Словом, он очень бережет в себе то качество, которое мы называем словом «порядочность», а прежде говорили просто — благородство. Сам юбиляр сказал кратко, но (он иначе не может) программные слова:

«Раньше мы боролись за свободу культуры, теперь надо бороться за культуру свободы».

Как, Олег Николаевич, как?.. На это нужна еще одна ваша жизнь, ваше семизылье, ваш напор и последовательность. Кто потянет этот воз сегодня? Завтра? В наступающем новом, XXI веке? Уж мы им будем не указ, но, думаю, будут озирались, оглядываться, искать примеры в истории. Найдут О.Н.Ефремова, Дон Кихота Театра.

Пускай поучатся. Есть чему.

...Я завершаю эту статью на какой-то грустной ноте. Прощу извинить. Знаю, что О.Н.Ефремову самому еще остается много-много дела, которого не бросить, не оставить. Своего дела. Которого не осилит другим. Своих новых бросков вперед, встреч, неожиданностей, привязанностей, удач и печалей. Тот же Пушкин, с которого мы начинали, говорил: «Тогда у старости отыметь все, что отыметя у ней».